



# Софья Богатырева

*Серебряный век  
в нашем доме*

Мемуары – XX век

Софья Богатырева

**Серебряный век в нашем доме**

«Издательство АСТ»

2019

УДК 821.161.1-94  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

**Богатырева С. И.**

Серебряный век в нашем доме / С. И. Богатырева —  
«Издательство АСТ», 2019 — (Мемуары – XX век)

ISBN 978-5-17-115797-5

Софья Богатырева родилась в семье известного писателя Александра Ивича. Закончила филологический факультет Московского университета, занималась детской литературой и детским творчеством, в дальнейшем – литературой Серебряного века. Автор книг для детей и подростков, трехсот с лишним статей, исследований и эссе, опубликованных в русских, американских и европейских изданиях, а также аудиокниги литературных воспоминаний, по которым сняты три документальных телефильма. Профессор Денверского университета, почетный член National Slavic Honor Society (США). В книге “Серебряный век в нашем доме” звучат два голоса: ее отца – в рассказах о культурной жизни Петербурга десятых – двадцатых годов, его друзьях и знакомых: Александре Блоке, Андрее Белом, Михаиле Кузмине, Владиславе Ходасевиче, Осипе Мандельштаме, Михаиле Зощенко, Александре Головине, о брате Сергее Бернштейне, и ее собственные воспоминания о Борисе Пастернаке, Анне Ахматовой, Надежде Мандельштам, Юрии Олеше, Викторе Шкловском, Романе Якобсоне, Нине Берберовой, Лиле Брик – тех, с кем ей посчастливилось встретиться в родном доме, где “все всегда происходило не так, как у людей”.

УДК 821.161.1-94  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-115797-5

© Богатырева С. И., 2019

© Издательство АСТ, 2019

## Содержание

От автора	7
Памяти “Картонного домика”	9
“Молодой, но отважный”	9
Письмо из Хабаровска	11
Инженер путей сообщения	14
Бабушка Полина, переводчица Цвейга	19
Старший брат и его окружение	24
Цитаты, игры и мистификации	27
Запечатлеть? Пожалуй!	30
Михаил Кузмин	33
Пушкинские торжества в Доме литераторов	36
Конец ознакомительного фрагмента.	37

# **Софья Игнатьевна Богатырева**

## **Серебряный век в нашем доме**

© Богатырева С.И., 2019

© ООО «Издательство АСТ», 2019

## От автора

### Не так, как у людей

В детстве и еще долго после того была у меня мечта: жить *как все*, быть *как все*. Чтобы мой папа, *как все* папы, по утрам уходил из дому с портфелем на работу, а вечером в одно и то же время возвращался, *как все*, домой; чтобы мама на кухне чистила лук и крошила картошку для супа, *как все* мамы моих подружек, а потом, *как все*, кричала в форточку: “Соня, обедать! Сколько раз повторять!” Чтобы в хорошую погоду меня отправляли “дышать воздухом” в наш захламленный хулиганистый двор.

У нас все происходило шиворот-навыворот. Не так, как у людей. Утром на работу, веселая и нарядная, чмокнув меня в щеку, убегала мама. Папа оставался дома, затворялся в кабинете, заходить к нему строго-настрого запрещалось: он там работал. Гуляла я не во дворе, *как все*, а вдоль набережных за руку с “бонной”, и меня никогда не звали обедать, окликая через форточку, меня вообще никогда не звали по имени, только “зайцем”, “птичкой” и прочими обозначениями из мира живой природы, а за глаза – “ребенком”. У нас никогда не водилось того, что было *у всех*: патефона, радио, позднее – телевизора; у нас все стены в доме были закрыты книгами. Если к нам приходили гости, то никогда не пели и не танцевали, как бывало в то время *у всех* наших соседей, а разговаривали или читали вслух стихи. В довершение странностей: мои родители обращались друг к другу на “вы”.

Из года в год я изо всех сил старалась стать *как все*, стать “*нашей*” и ближе всего подошла к тому в студенческие годы: лекции, зачеты, походы, танцульки, свидания – всё как у всех. Ан нет, не тут-то было! В день смерти Сталина в сонме всеобщих рыданий полоснуло одиночеством, которое пыталась скрыть, думала, что успешно. Но и здесь пришлось признать поражение, когда на выпускном вечере комсорг Витька припечатал меня “комплиментом”: “Эх, хороша была б девка, жаль, не наша”.

Только в отдалении временном и пространственном я догадалась, что быть не *как все* не стыдно и вовсе не так плохо, хотя, конечно, крайне, донельзя, до смерти некомфортно. Что мучительная непохожесть – не изъян, а нечто, что не следует прятать, что стоит беречь и чем не грех поделиться. Тут и Америка, куда меня занесло, помогла: в чужом мире, с его заковыристым языком, диковинными привычками, веселой расположенностью всех ко всем и подозрительного цвета бурдой под названием “кофе”, стремиться стать *как все* было бы глупо и неосуществимо – да и желания такого не возникало. Зато была возможность увидеть, что каждая личность с ее собственными заскоками-закидонами может рассчитывать на уважение к себе и своим странностям, и окончательно убедиться, что быть *не как все* – беда это или выбор – твое личное дело и твое законное право.

Вот тогда я взялась за изучение истории своей непохожей на все другие семьи, собирая воспоминания, сверяясь с документами, разбирая случайные записи и оборванные на полуслове мемуары, читая старые письма, вглядываясь в поблекшие фотографии, прослушивая магнитофонные записи, стараясь вписать жизнь семьи и ее окружения в исторический и литературный контекст.

Так сложилась эта книга.

Она – о памяти, о так называемых маргиналах. О тех, кто сопротивлялся забвению традиций и пытался жить по правилам высоко ценимого ими, но, словно град Китеж, оставшегося в легендах, а не в реальности, круга *непохожих* людей, который именовался русской интеллигенцией и в годы господства пошлости хранил дух прекрасной эпохи, именуемой Серебряным веком. Громких слов о служении русской культуре никто из них не произносил, просто служил ей в меру своего понимания и на свой лад.

Книга основана на уникальном архиве, собранном на протяжении большей части XX века моим отцом, писателем Александром Ивичем (1900–1978), его неопубликованных воспоминаниях о культурной жизни Петербурга-Петрограда в 1910–1920-х годах, о его друзьях и знакомых из числа поэтов Серебряного века (Александре Блоке, Андрее Белом, Осипе Мандельштаме, Михаиле Кузмине, Владиславе Ходасевиче), о Михаиле Зощенко, о художнике Александре Головине, о творцах формального метода в литературоведении и основателях ОПОЯЗа, в том числе о его старшем брате Сергее Бернштейне. К запискам отца я присоединила свои воспоминания о Борисе Пастернаке, Анне Ахматовой, Юрии Олеше, Михаиле Зощенко, Викторе Шкловском, Романе Якобсоне, Нине Берберовой, Надежде Мандельштам, Лиле Брик, Николае Харджиеве – о тех, с кем посчастливилось встретиться благодаря принадлежности к семье, где все всегда происходило *не так, как у людей*.

Это книга не могла бы появиться,  
...если бы мой отец не собирал рукописи, которым грозило уничтожение от властей преследующих;  
...если бы в самые опасные годы моя мать не помогала хранить их, бережно перепечатавая каждую страницу;  
...если бы те, кого я застала в этом мире и о ком могу рассказать разминувшимся с ними во времени, не дарили меня своим вниманием.

Эта книга не могла бы появиться,  
...если бы не безотказная помощь Валерия Золотухина, который воскресил научное наследие моего дяди, откопав в недрах Российской государственной библиотеки погребенные там рукописи Сергея Бернштейна и его учеников, а Тимур Булгаков не отыскал юношеские письма дяди к моей бабушке;  
...если бы Николай Алексеевич Богомолов своими работами не создавал научный фундамент для моих мемуаров;  
...если бы Наталья Громова не вдохновляла своим неутомимым служением на ниве возвращения в лоно современной литературы затерянных архивов и воспоминаний;  
...если бы Елена Даниловна Шубина не поддерживала меня в уверенности, что книга моя нужна, и тактично, но твердо меня торопила;  
...если бы редактор Даша Сапрыкина не вносила бы столь тщательно и безропотно бесконечные поправки в готовый текст.

Радуюсь возможности и чести принести им мою благодарность!

*Софья Богатырева*  
*18 ноября 2018*  
*Денвер, штат Колорадо, США*



## Памяти “Картонного домика”

### “Молодой, но отважный”

Мне трудно представить отца юным. Знаю, что он был стройным и большеглазым. Ольга Форш называла его “Ветка Палестины”. Вениамину Каверину запомнился “тоненький, как будто нарисованный одной узкой карандашной линией Игнатий Игнатьевич Бернштейн, молодой, но отважный руководитель издательства «Картонный домик», которое выпустило известный сборник воспоминаний о Блоке и вскоре рухнуло, как картонный домик”<sup>1</sup>. Помню при- сказку Виктора Шкловского: “Когда Саня появлялся в комнате, среди женщин начинался листопад”. С фотографии работы Наппельбаума смотрит на меня волоокий романтического вида красавец, – но у Наппельбаума все глядят красавцами. Сани Бернштейна я, по сути, не знала. Для меня отец всегда был в жизни – Игнатием Игнатьевичем, как называли его на моей памяти, а в литературе – Александром Ивичем, как подписал он когда-то, второпях, на ходу, газетную, нашумевшую потом публикацию и что сделал своим псевдонимом, слепив первую букву имени с тремя последними отчества и узаконив заодно домашнее имя Саня, сложным образом возникшее из Игнатия, что вызывало постоянные вопросы, на которые не всегда хотелось отвечать. Я и себя всю жизнь (признаться, по сей день) ощущала Соней Ивич, что бы там ни значилось в моих официальных бумагах.

Революции 1917 года среди прочих разрушений смели возрастные границы. Ровесник века, Игнатий Бернштейн окончил гимназию между Февралем и Октябрем. К Февральской революции отнесся восторженно и сразу оказался в центре событий: в качестве одного из помощников коменданта Государственной думы присутствовал на заседаниях, слушал первые пореволюционные речи Керенского и Милюкова. Затем служил в охране Временного правительства; потом ему поручили заведовать столовой для военных частей, которые приходили выразить Временному правительству свою преданность. Уж не знаю, когда он успел сдать выпускные экзамены и получить свою золотую медаль (собственно, медалей в тот год в гимназии Гуревича уже не выдавали, но свидетельство на право ее получения вручили). По молодости лет ни к какой партии он не принадлежал, но по убеждениям примыкал к кадетам, поэтому к октябрьскому перевороту отнесся без энтузиазма. Однако и тут поначалу углядел романтические черты, а себе нашел дело, только связанное не с политикой, как в Феврале, а с литературой, точнее с книгами: комплектовал библиотеки для кораблей Балтийского флота. (Вечное стремление российских интеллигентов нести в народ просвещение!) Так или иначе, посты он занимал и выполнял поручения, казалось бы, не вполне подходящие для шестнадцати – семнадцати лет, а общался запросто с людьми в два с лишним раза старше себя. Знакомства у него были совершенно замечательные: с Виктором Шкловским он дружил со школьных лет, у Бориса Эйхенбаума учился в гимназии, с Михаилом Кузминым встречался по-соседски раз- два в неделю за чаем, в Доме искусств близко сошелся с Владиславом Ходасевичем, там же навещался к “Серапионам”<sup>2</sup>, еще гимназистом выступил с докладом в ОПОЯЗе<sup>3</sup> о “Строении новелл Мопассана”, в котором указал незначительное количество их вариантов, зачи- нов и финалов. О почтеннейшей Ольге Дмитриевне Форш, по прозвищу Полковник, двадца-

---

<sup>1</sup> Каверин В. Эпilog. М., Аграф, 1997. С. 25.

<sup>2</sup> “Серапионовы братья” (также “Серапионы”) – литературное объединение Петрограда-Ленинграда 1920-х гг.

<sup>3</sup> ОПОЯЗ (Общество изучения поэтического языка) – научное объединение петроградских и московских лингвистов и теоретиков литературы.

тью семью годами его старше, вспоминал: “Мне кажется, мы разговаривали с нею на равных”. Среди черновиков отца я нашла запись, датированную 1933 годом:

Дом искусств. Четвертая дверь налево. Стучу. Генеральский бас отвечает: “Войдите!” За столом – бравый полковник в отставке, в какой-то застиранной кацавейке, пишет. Или делает вид, что пишет. Тамара, милая восемнадцатилетняя девушка, греет суп на буржуйке. Разговоры у нас с полковником бывали интересные. Особенно в феврале 21-го. Мы говорили меньше о литературе, чем о Штейнере и хлыстах. Тема была свежая для нас обоих, и говорилось потому легко. Полковник, иначе говоря, писательница Ольга Дмитриевна Форш, только недавно отошла от штейнерианства и относилась к вопросам мистики с повышенным интересом. Забавно, что те, кто не говорят о Штейнере с восхищением, говорят о нем с раздражением. У Ольги Дмитриевны в этом раздражении было много личного. Она знала Штейнера – встречалась и разговаривала с ним – и, как положено, была им покорена.

Что касается общения и дружеских связей моего отца, то здесь помимо общеисторических причин, сыграли роль личные обстоятельства. Биография его сложилась так, что во многом предопределила разнообразие и богатство знакомств. Его жизнь началась под знаком трагедии, что читалась в его имени, точнее, в сочетании имени и отчества.

## Письмо из Хабаровска

13 июля 1900-го, последнего года XIX века, четырнадцатилетняя девочка по имени Леля писала гимназической подруге:

Вот мы и в Хабаровске! Ты, конечно, удивляешься? Сейчас я расскажу, каким образом это случилось.

Однажды в Фулярди мы с мамой спокойно сидели в столовой и разговаривали. Вдруг влетел, буквально влетел в комнату папа, взял маму под руку и вышел в другую комнату. Через минуту они вышли опять в столовую, и я заметила, что они оба взволнованы, а мама даже немного бледна. Папа сейчас же ушел, сказав маме, чтобы она “поскорее”. Я сейчас же пристала к маме с расспросами, и она мне рассказала, в чем дело: в Китае и Маньчжурии появились мятежники, желающие во что бы то ни стало вытеснить европейцев, число их очень велико и, кроме того, к ним понемногу присоединяется народ, а правительство ничего не имеет против. Первые нападения мятежников были сделаны на Порт-Артурские участки и на Хайгар. Хайгар от нашего Фулярди находится на расстоянии около 600 верст. И вот, когда стало известно, что уже сделано нападение на Хайгар, была получена срочная телеграмма от главного инженера: собраться всем служащим и с семьями в тот же день выехать на поезде в Харбин. Телеграмма была получена в три часа дня, а в семь вечера мы были уже на поезде.

Был также приказ: ничего из громоздких вещей с собою не брать, так как прислано всего два крытых вагона и пятнадцать небольших платформ открытых, только для людей, захватить с собою только самое необходимое: по две-три перемены белья и провизии на неделю. За четыре часа, которые нам были даны на сборы, мы наварили и нажарили кур (всех своих и цыплят), сварили полсотни яиц, собрали подушки, белья и ухитрились-таки, несмотря на запрещение, захватить свой серый сундук, в который мама сложила все дорогие для нее фотографии, несколько кусков ткани, чесучу, золотые вещи и т. д. В восемь часов вечера все были уже на платформах. Теперь дело было вот в чем: надо переехать мост. Мост этот только временный, построен на скорую руку, весь деревянный, без быков и, наконец, так “хорошо” построен, что через него паровоз с жандармом и двумя-тремя платформами боялись переправить, а тут приходится переправлять целый поезд, битком набитый пассажирами. Переехать решено было “на руках”, то есть что повезут нас служащие, а не паровоз.

Паровоз ждал нас на другой стороне. И вот наконец тронулись.

Представь себе: темнота, битком набитый плачущими и трясущимися неосвещенный вагон, всеобщий страх и т. д. Продвигались мы очень медленно, но только въехали на мост, как вдруг слышим: “Китайцы мост разбирают! Охрану на мост!” Можешь себе представить? При этом слышишь и чувствуешь, что остановить вагоны и платформы уже нельзя, и мы продолжали ехать, несмотря на то, что каждую минуту мост мог рухнуть, а мы – полететь в реку со всем поездом. Но вот проскакали на мост человек пятнадцать казаков в полной амунии. Нас наконец удалось остановить. Через 10 минут казаки возвратились с моста, скинув в реку с десятков китайцев и ухлопнув прикладами человека три. Мы снова тронулись и благополучно доехали до другой стороны. Там сейчас же подвезли еще несколько платформ и подкатали

паровоз. Теперь дело вот в чем: мы должны ждать дистанцию Турчиху, то есть начальника дистанции, находящейся от Фулярди на расстоянии 40 верст, техника, фельдшера и человек 15 охранной стражи. Ждем их час, два, три, наконец говорят, что уедем без них, они, вероятно, соединились с другим участком.

Таким образом, останавливаясь на каждой дистанции, забирая всех служащих (конечно, русских) и голодая, доехали мы до Харбина. Здесь нас на другой день должны будут посадить на пароход и отправить в Хабаровск. Посылали только женщин и детей и, в виде исключения, некоторых еще мужчин. В числе их был Игнатий Абрамович Бернштейн.

До Сан-Синя (300 верст от Харбина) мы доехали благополучно и оттуда, уже совершенно успокоенные, тронулись дальше. Дело в том, что в Харбине ходили слухи, будто в Сан-Сине перебиты все русские и китайцы останавливают каждый пароход, отбирая все оружие. В случае же сопротивления кончают со всеми пассажирами. Поэтому, остановясь в Сан-Сине и узнав там от полковника Винникова, что всё это враки и китайцы продолжают жить дружно с русскими, мы уже спокойно тронулись дальше. До Хабаровска оставалось еще 500 верст.

Отъехали еще верст 40–50 от Сан-Синя. Погода стояла чудная. В кают-компании пили чай. Я, моя подруга Женя Столярова, Юлия Аспидова сидели на носовой скамеечке и болтали с молодым Юговичем (красивый молодой человек). Я зачем-то пошла в кают-компанию и мимоходом заметила на палубе маму и Игнатия Абрамовича. Только я вошла в кают-компанию, вдруг слышу какое-то частое шелканье, вроде шелканья сороки. Затем мимо моего уха прожужжала и шлепнулась рядом в стену пуля. Тогда я с криком: “Стреляют, китайцы, берегитесь!” бросилась к маме на палубу, но в дверях столкнулась с нею, бледной и взволнованной. “Где дети?” – спросила она. “Не беспокойся, они в кают-компании”. Я снова побежала туда и стала еще с несколькими людьми устраивать там баррикады из матрасов, подушек, чемоданов и т. д. Устроив все это, я с акушеркой Верой Михайловной стала перетаскивать кричавших и пищавших ребятшек из коридора, в котором столпились все дамы, в кают-компанию. Много было здесь и ругани, и проклятий, и слез, и вздохов, и среди всего этого хаоса то и дело слышалось шлепанье пули. Занявшись делом перетаскивания, я совершенно забыла о бедном Игнатии Абрамовиче, которого, я слышала, сильно ранили. Я пошла посмотреть, где он, и у двери каюты № 7 увидела рыдающую Полину Самойловну, которая твердила, что теперь ей незачем жить, теперь для нее все кончено. Я зашла в каюту напротив и увидела залитый кровью пол и на скамье полураздетого, бледного как полотно, облитого кровью Игнатия Абрамовича. Что это была за картина, ты можешь себе представить! В первый момент я чуть не упала в обморок при виде этого, но услышала приказание мамы принести воды и позвать доктора. Только что я вышла, как снова началась стрельба, третья и последняя, которая длилась пятнадцать минут, но окончилась благополучно. Забыла еще сказать, что охраны у нас на пароходе не было, случайно попали шесть казаков и один офицер, кроме того, частных ружей было штук шесть. За четыре часа обстрела у нас был один убитый – Игнатий Абрамович, он к вечеру скончался, трое серьезно раненных и легко ранена Верочка Ивашкевич. Меня контузило.

Поздно ночью нас перетащили в трюм, и там, среди дров, грязи и пыли мы плыли еще полтора суток. В ста двадцати верстах от Сан-Синя мы встретили 27 пароходов с войсками и орудиями, идущих в Харбин. Можешь себе представить, как мы обрадовались, узнав, что теперь совершенно спокойно можем двигаться дальше. Через двое суток мы были в Хабаровске.

Прощай же, целую всех крепко.

*Ваша Леля.*

Полвека спустя это письмо передала мне дочь Лели, известная актриса Елизавета Ауэрбах. С ее матерью, Ольгой Евгеньевной Ауэрбах, я встречалась, когда та была уже очень старой и тяжело больной женщиной – совершенно замечательной и совершенно неотразимой. Не составляло труда узнать в ней отважную Лелю, ту, что под пулями перетаскивала в укрытие малышей, и, чуть живая от ужаса, пыталась помочь смертельно раненному попутчику. А чего стоит это вскользь оброненное, небрежно брошенное “меня контузило”! Так, мол, мелочь, не имеющая значения.

Леля была благовоспитанной барышней и в своем письме не упомянула о том, что благовоспитанным барышням конца XIX века упоминать и даже замечать не следовало: их спутница, на глазах которой убили ее мужа, была, что называется, на сносях – вот почему на корабле находилась акушерка, вот почему ее муж был среди тех немногочисленных мужчин, которым поручили сопровождать транспорт. Дошли до меня рассказы, что будто бы он не хотел эвакуироваться, однако Полина Самойловна, ссылаясь на то, что не может отправляться в трудное путешествие в своем положении одна с восьмилетним сыном, на том настояла, стремясь увезти мужа подальше от опасности, что еще усугубляло ее отчаяние чувством вины.

В Хабаровске Полина Самойловна похоронила мужа и родила сына. Его нарекли также Игнатием, что обычаями евреев-ашкенази допускается лишь в том случае, если сын родился после смерти своего отца. Так тень трагедии сопутствовала его имени всю жизнь, с первого дня до последнего.

Это был мой отец.

## Инженер путей сообщения

Я не так уж много знаю о своем деде. Ни я, ни мой отец не успели увидеть его. Расспрашивать бабушку и дядю мне сначала, в детстве, казалось бестактным (слова такого я, может быть, и не знала, но ощущение помню); позднее, когда удалось преодолеть неуклюжую ребячью скованность, а затем свойственное молодости упоение жизнью, где не было места воспоминаниям о прошлом, спросить было не у кого.

Должно быть, Игнатий Абрамович был незаурядной личностью: в то время еврею нелегко было занять видный пост на строительстве Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД), звание путейского инженера звучало столь же значительно (сейчас сказали бы “престижно”), как в наши дни – профессия космонавта.

Родился он в 1857 году в Луцке, старинном городе, который не раз переходил из рук в руки, принадлежал то Польше, то России, то Украине, где смешались славяне восточные и западные, где в разное время жили и немцы, и литовцы, селились евреи и караимы. Наречен был двойным именем Ицко-Исаак, обучался в Ровенском реальном училище, однако на том не остановился: он отважился поехать в Санкт-Петербург продолжать образование, добился, войдя в допустимую для евреев “процентную норму”, поступления в одно из наиболее престижных учебных заведений России, Институт инженеров путей сообщения Императора Александра I, и успешно окончил его. Обтрепавшийся на сгибах, но по-прежнему важный как родоначальник всего, что произошло впоследствии, торжественного вида документ из домашнего нашего архива, напечатанный на плотной мелованной бумаге, украшенный гербом института и затейливой восьмиугольной печатью, “диплом” за номером 1001

...объявляет, что Ицко Бернштейн иудейского исповедания, окончивший полный курс наук преподаваемых в Институте, признан экзаменною комиссиею достойным звания Гражданского Инженера, с правом производства строительных работ и с правом на чин Коллежского Секретаря, при вступлении в государственную службу. В звании гражданского инженера с упомянутыми преимуществами утвержден мая 28 дня 1883 г. В засвидетельствование чего дан сей диплом от Института инженеров путей сообщения Императора Александра Первого, с приложением печати Института<sup>4</sup>.

Кроме поименованных в нем преимуществ, права на работу и на чин, “диплом” – великое дело! – давал еврею свободу: право жить там, где пожелает, а не обязательно в черте оседлости, куда входили родные ему Луцк и Ровно. Ицко Бернштейн выбрал для проживания город Тифлис, а для работы – Закавказскую железную дорогу. Место новое, экзотическое, не было в Российской империи более романтического – похоже, он был романтиком, мой дед! Но в то же время присутствовала в его характере надежная основательность, серьезное, ответственное отношение к делу, что задает тон личности и просвечивает в каждом из известных мне его поступков.

К тому времени, как он начал там работать, на Закавказской железной дороге действовала линия, которая вела из Тифлиса в Потти, открытая десятью годами раньше, и как раз входил в строй участок, соединявший Тифлис с Баку – на манер коридора между Каспийским и Черным морями. Дорога шла по местам живописнейшим: по берегу Черного моря, затем, постепенно удаляясь от него, по долине реки Сиона и ущельям ее притоков, через Сурамский перевал, вступала в долину реки Куры, пересекала Военно-Грузинскую дорогу, проходила мимо

---

<sup>4</sup> Пунктуация и прописные буквы подлинника. – С.Б.

Тифлиса и направлялась далее по степным равнинам Восточного Закавказья к Баку. Новоиспеченный инженер знакомился с Закавказской железной дорогой не торопясь, обстоятельно, с присущей ему добросовестностью. Начал снизу, с работы помощником машиниста – прежде чем *строить*, стал учиться *ездить* и первым делом освоил искусство водить паровозы. В свидетельстве, полученном в 1884-м, через год по окончании института, сообщается, что:

Исаак Бернштейн был испытан в знании им устройства и работы паровоза, управления паровозом и правил о сигналах. Вследствие сего ему предоставляется право на самостоятельное управление паровозом и занятие должности машиниста Закавказской железной дороги.

В качестве машиниста он перевозил людей и грузы к портам Черного моря, и ему пришлось испытать сопротивление материала на ощупь, под колесами своего паровоза: узнать, как отзываются управлению рельсы дороги, новые ветки которой ему предстояло прокладывать. Управление паровозом в ущельях, а пуще того, на горных участках, через перевал высотой почти в тысячу метров, с подъемами до 46 % и минимальным радиусом кривизны в сто метров (путейцам известно, каково это!) требовало твердой руки, мастерства и опыта, чем и стремился овладеть дипломированный инженер. Позднее, в 1890 году, уже во время его работы по специальности, строителем, и при его непосредственном участии особо трудный и наиболее опасный, как он знал по собственному опыту, пролет, Сурамский перевал, заменили четырехкилометровым Сурамским тоннелем, самым длинным в тогдашней России.

В многонациональном Тифлисе, устав от путаницы с двумя именами – его называли то так, то эдак, что требовало постоянных исправлений и уточнений в документах, – Ицко-Исаак окончательно превратился в Игнатия. Этим именем он и раньше пользовался, со студенческих еще времен, есть в нашем собрании записка, где он так называется, приведу этот любопытный манускрипт с сохранением орфографии и пунктуации, только и десятиричное и яти пришлось заменить.

### Свидетельство

Сим удостоверяю что Студент Института Инженеров Путей сообщения Игнатий Бернштейн находясь с 17-го Июня по 5-е Декабря в Тихвинской описной партии в качестве старшего техника, делал самостоятельно промерные работы (съемку нивелировку и определение скоростей) составлял проекты регулирования рек и улучшения Гидротехнических сооружений и занимался всегда усердно и исполнял разнородные поручения точно и аккуратно, заслужил признательность Г-на Заведующего Вытегорским Округом как полезный и знающий свое дело техник.

Г. Тихвин Декабря 5-го дня 1882 года.

Начальник Тихвинского отделения Вытегорского Округа

Назар Букацкий

Тактичный оказался выбор: Игнатий – имя нейтральное, не подчеркнуто русское, как было бы, скажем, Игнат, а скорее, с легким иностранным оттенком, с польским отзвуком (вот оно, воспоминание о Луцке!), не скрывающее инородности, но и не выставляющее ее напоказ. Говорил и писал он по-русски, в семье его называли на русский лад Саней, первенцу дал русское имя, однако вероисповедания не менял. Главные события его короткой жизни – рождение, вступление в брак и кончина – освящались иудейскими обрядами.

Как он попал в Киев, я не знаю. Доподлинно известно только то, что именно там 27 января 1891 года, будучи тридцати четырех лет от роду, он

...вступил в законный брак по обряду Моисеева закона  
с девицей Паулиною, дочерью киевского первой гильдии  
купца Самуила Рабиновича.

Девице Паулине, будущей моей бабушке Поле, шел двадцать первый год, она происходила из многодетной богатой семьи, заметной и уважаемой в Киевской еврейской общине, получила хорошее воспитание. Родители моего деда, мещанина Ровенского уезда Волынской губернии, по неведомой мне причине неодобрительно отнеслись к женитьбе сына, а семья богатой и образованной невесты, напротив, брак приветствовала. На сей счет имеется у меня если не документ, то “вещественное доказательство”, трогательное и хрупкое – чайный сервиз, который младший брат невесты собственноручно расписал на фарфоре, отдал на обжиг в мастерскую знаменитого поставщика Двора Его Императорского Величества Ломоносовского завода в Петербурге и преподнес молодым в день их свадьбы. Дядюшка Сергей и мой отец ценили и любили эти изящные в буколическом стиле вещицы, их в память добрых семейных традиций хранили столь бережно, что изрядная часть их живет второе столетие, теперь уж в моем доме.

С молодой женой Ицко-Исаак-Игнатий вернулся в Тифлис, где во второй день следующего 1892 года родился их сын Сергей, которому суждено было сыграть видную роль в российской филологии.

Браки, заключенные против воли хотя бы одного из родителей, – это обычно браки по любви. Похоже, так оно и было: семейная жизнь инженера Бернштейна складывалась безмятежно, по службе на Закавказской железной дороге он неуклонно продвигался и, видимо, неплохо зарекомендовал себя, если получил завидное место заместителя начальника двух участков на строительстве КВЖД, “стройки века” по терминологии недавнего прошлого.

Если уж допустить наличие романтических струн в душе молодого путейца, то не удивляет его решение оставить прекрасный, однако за десять с лишним лет изъезженный вдоль и поперек Кавказ ради неведомого Китая, еще более экзотичного, и строительства дороги еще более протяженной, еще более значительной, соединяющей уже не города, а страны и – новой, завораживающе новой!

Строительство одной из крупнейших магистралей позапрошлого века – Китайско-Восточной железной дороги – началось в конце августа 1897 года. Тому предшествовали события как геополитического, так и экономического характера. Еще в середине XIX века интересы на Дальнем Востоке побудили правительство Российской империи протянуть от Челябинска до Владивостока Транссибирскую железнодорожную магистраль, часть ее должна была идти по китайской территории. 22 мая 1896 года по секретному договору между Российской империей и Китаем Россия получила право на строительство в Маньчжурии железной дороги, которой надлежало связать Забайкалье с Приморьем. Проект обещал быть дорогостоящим: каждая верста обходилось в 152 тысячи рублей – не скупилась!

Поскольку строительство дороги означало проникновение России в Маньчжурию и укрепление российского военного присутствия на берегах Желтого моря, можно было ожидать, что не все в Китае отнесутся к тому одобрительно. Какие формы примет возможное противодействие, никто не знал, но все отдавали себе отчет в том, что дорога и ее строители, российские подданные, нуждались в надежной охране. Однако китайская сторона предусмотрительно внесла в договор пункт, согласно которому Россия не имела права держать в полосе КВЖД регулярные войска. Стали искать паллиативы: первый отряд Строительного управления КВЖД во главе с инженером Адамом Ивановичем Шидловским, прибывший 24 апреля 1897 года в Маньчжурию на реку Сунгари, где построили город Харбин, охраняли казаки, пешая Кубанская полусотня под командованием есаула Повиевского. Но уже 10 мая того же года нашли более конструктивное решение: сформировать боевую группу, по сути местную армию. Она именовалась “Охранной стражей” (никак не “регулярные войска”, не придерешься!) и



была вполне внушительной: туда вошли почти 700 конных нижних чинов и 120 офицеров, у них имелась и своя форма, и знаки различия. Подчинялась Охранная стража непосредственно главному инженеру, Александру Иосифовичу Юговичу. Помните, в письме гимназистки Лели упоминается красивый молодой человек с такой же фамилией, она болтала с ним как раз перед тем, как послышалось “щелканье сороки”, китайских пуль? Не иначе как сын начальника. На отсутствие у них на пароходе охранной стражи сетует Леля, она же вспоминает о том, как призывали на временный мост охрану, упоминает и казаков, обеспечивших им переправу.

У меня нет точных сведений о том, когда именно семья моего деда переселилась в Маньчжурию, но доподлинно известно, что он был там в апреле 1900 года, о чем сообщает *Свидетельство*, написанное изящным, слегка вычурным, с завитушками почерком:

Дано сие свидетельство жене моей Полине Самойловне  
Бернштейн и сыну моему Сергею для свободного проживания во всех  
городах Российской Империи сроком от нижеписанного числа на два года.  
Апреля двенадцатого числа тысяча девятисотого года. Манчжурия. Поселок  
Харбин.

Заместитель начальника 6-го и 7-го участков  
Китайской Восточной жел<езной> дороги.  
Инженер И. Бернштейн.

Подпись руки Заместителя Начальника 6-го и 7-го участков  
Гражданского Инженера Игнатия Абрамовича Бернштейна  
с приложением печати свидетельствую. 12 Апреля 1900 года.  
Поселок Харбин. Контора Главного Инженера по сооруж<ению>  
Китайской Восточной ж.д. Правитель Канцелярии.  
А. Чайковский.

К сему приложена печать с драконом и ангелом.

Не исключено, что “Свидетельство” инженер Бернштейн оформлял в ожидании приезда семьи, а если наше предположение верно, то пожить им там вместе пришлось всего ничего: 23 июня 1900 года строителей КВЖД настигло Боксерское восстание. В тот день китайские отряды атаковали строителей: они начали методично разбирать железнодорожное полотно и аккуратно, одну за другой, разрушать станционные постройки, а в тех, кто пытался оказывать сопротивление, стреляли. Тут и вступила в дело Охранная стража: ей выпало принять на себя первые удары и, соответственно, понести первые жертвы. Под прикрытием Охранной стражи шла спешная эвакуация русских служащих, об одном из эпизодов которой рассказала Леля. Офицеры стражи вместе с инженерами выводили из зоны боев строителей с их семьями. Все пути оказались трудными и в разной степени кровавыми. Особенно трагически сложилась судьба нескольких строителей, уходивших из Мукдена под командой поручика Валевского и инженера Верховского: почти все они погибли в неравных боях. Захваченный в плен Верховский был обезглавлен. Семья Игнатия Бернштейна была среди тех, кого с трудом и опасностью переправили в поселок (тогда еще поселок!) Харбин, а там посадили на пароход “Одесса”, следовавший в Хабаровск.

Пострадала и сама дорога. Работа, которую успели выполнить до нападения, была в значительной степени сведена на нет: из 1400 километров железнодорожных путей, проложенных к июню 1900 года, в целости осталось чуть больше трети, 430.

Ровно сто лет спустя, в последний год XX века я набрела в лондонском соборе Святого Павла на невысокий обелиск, установленный в память погибших во время Боксерского восстания в Китае. Там не сказано, что именно погибших *англичан*, а потому я решила: значит, и в память моего деда, и инженера Верховского, и поручика Валевского, и других наших сооте-

чественников. Памятника российским гражданам, строителям КВЖД, оставившим там свои жизни, я не знаю и подозреваю, что у нас такого и не найдешь.

Память моего деда почтили не только его вдова и лондонцы. Пожелтевшая и выцветшая за сто с лишним лет газетная вырезка из семейного архива сохранила красивым крупным шрифтом набранный текст в широком черном окаймлении:

Товарищи и друзья безвременно погибшего  
инженера Путей Сообщения  
ИГНАТИЯ АБРАМОВИЧА БЕРНШТЕЙНА,  
убитого китайцами на Манчжурской железной дороге,  
извещают о том, что в понедельник 7-го августа, в 4 часа дня будет  
отслужено заупокойное богослужение в Санкт-Петербургской синагоге  
(Офицерская, угол Мастерской).

(Людам моего поколения куда как трудно поверить, что такое объявление могло появиться в газете: в советские времена слово “синагога” относилось к числу непечатных, а посещение синагоги, буде о том узнавали, навлекало беду на весь дом.)

Задним числом узаконили на официальном уровне и самозванное имя почившего:

Мы, нижеподписавшиеся, сим удостоверяем, что Инженер  
Путей Сообщения Ицко-Исаак Абрамович Бернштейн, убитый на  
пароходе “Одесса” на реке Сугари в Манчжурии в июле месяце 1900 года  
и похороненный в гор. Хабаровске на Иудейском кладбище, в общежитии  
прозывался и именовался Игнатием Абрамовичем Бернштейном, в чем и  
подписуемся.

За сим следуют три подписи, в том числе – поручика известной нам Охранной стражи, а также нотариуса, в конторе которого оформляли “Свидетельство”.

На немногих дошедших до меня его фотографиях этот стройный господин с аккуратной бородкой удивительно похож на моего сына, только облачен он в сюртук и рубашку с высоким крахмальным воротом, а его правнук предпочитает майки и джинсы, да и ростом, как все его поколение, куда выше. Но интерес к технике оказался наследственным: прадед получил право на самостоятельное управление паровозом, а правнук – на вождение легких самолетов. Но как, скажите на милость, понимать тот факт, что через сто с лишним лет после гибели прадеда от китайской пули правнук, столь на него похожий, женился на юной китаянке? Катарсис? Примирение непримиримого? Или всего лишь одно из частных проявлений глобализации нашего сжавшегося в шарик земного шара?

## Бабушка Полина, переводчица Цвейга

Бабушку Полю я хорошо знала и, как теперь мне ясно, не знала совсем. В моем раннем детстве бабушка нас навещала, жила с нами во время войны в эвакуации и позднее, когда я училась в старших классах школы, но отношения у нас с нею сложились самые поверхностные: так, незначащие разговоры по незначительным поводам. Не могу понять, в чем тут дело и по чьей вине не существовало между нами, ее единственной внучкой и моей единственной бабушкой, большей душевной близости и тепла. Но того, увы, не было.

А может быть, тот страстный крик, что ей “незачем теперь жить” и “все для нее кончено”, именно то и означал? Что она поставила крест на прошлой жизни и нечто – из области любви, трепета и прочих трудноопределимых чувств – угасло в ее душе со смертью ее молодого мужа? Все это она в себе закрыла, запечатала, заперла на замок, захлопнула дверь, забросила ключ от нее. Ее дальнейшая жизнь была исполнена достоинства и лишена бурных эмоций. Со старшим своим сыном, которому к моменту трагедии минуло восемь лет, она бывала ласкова, а младший, пришедший в этот мир словно на смену своему отцу и по ее же выбору отцовским именем названный, вызывал у нее сложные чувства, любовь с привкусом горечи. Впрочем, как мне судить? Возможно, во мне говорит ревность. Однако во время войны старшему сыну, находившемуся в эвакуации, она писала трепетно и тревожно, каждая строчка была проникнута заботой о его жизнеустройстве, о трудностях быта, о том, как переносит он непривычные холода. А ее письма к моему отцу в действующую армию кажутся куда более спокойными, словно бы там, на фронте, он подвергался меньшей опасности, чем его старший брат в городе Малмыже, неуютном, но глубоком тылу. Хотя ее ли то вина? Вот как описывал мой отец свои “военные будни”: “Дорогая мамочка! Как ты себя чувствуешь? Я – отлично, здоров, настроение хорошее. В городе тихо, спокойно. Работа у меня по специальности...” – это из Севастополя в 1941-м, в разгар боев на подступах к городу!

Овдовев на тридцать первом году жизни, бабушка Полина не пожелала вновь выйти замуж, посвятила себя сыновьям: выдающемуся лингвисту Сергею Бернштейну и моему отцу. По воспоминаниям моего отца, она была матерью строгой и требовательной, но отнюдь не нянькой: бонны, гувернантки, учителя появлялись, существовали и сменялись своим чередом.

Во всем, что она делала и предпринимала, господствовала жесткая логика и твердость, она неизменно руководствовалась здравым смыслом, которого ей не занимать было. С родителями убитого мужа не общалась: добрых отношений там не возникло и поддержки с той стороны она не ждала, да, видимо, в ней и не нуждалась. В районе строительства КВЖД, независимо от того, продолжались ли там “беспорядки” или наступил мир (как мы знаем теперь, он наступил не так скоро), делать ей было нечего, и ничто, кроме могилы мужа, ее там не удерживало. Памятник на могиле был установлен и сфотографирован, документы на опеку над детьми оформлены. Молодая вдова с двумя сыновьями, восьмилетним и новорожденным, кружным путем, вокруг доброй половины земного шара – железная дорога, которую строил ее муж, еще далека была от завершения, а сделанное им и его товарищами разрушено на две трети – отправилась с Дальнего Востока на Украину. В плетеной тростниковой корзинке в каюте парохода мой отец трех месяцев от роду совершил первое и последнее в своей жизни кругосветное плавание.

В Киеве проживала мать Полины Самойловны, потомственная почетная гражданка Августа Яковлевна Рабинович. Долгое время мне было невдомек, каким образом звание “почетной гражданки”, да еще “потомственной”, могло совмещаться с бесправным положением еврейского населения в царской России, однако документ с сургучной, красного цвета печатью, где прабабушка наша так именуется, хранится у моего троюродного брата Александра, а в сканированном виде и в моем компьютере. Оказалось все достаточно просто. Существо-

вало такое сословие, о котором забыли упомянуть наши школьные учебники, сословие “потомственных почетных граждан”, введенное еще Екатериной II в Жалованной грамоте от 1785 года. Тогда оно называлось даже более торжественно: “сословие *именитых* граждан”. Не столь многочисленное, оно располагалось пониже дворянского, и входили туда сливки не-дворян. То была тонкая прослойка между высокомерным дворянством и простым человеком, созданная правительством, чтобы оградить замкнутую касту первых, поддерживая в то же время амбиции вторых, как-то выделить наиболее успешных и ярких его представителей, а заодно побудить их к предпринимательской деятельности и к щедрой благотворительности. В разное время в число “почетных граждан” – как и дворяне, они делились на *потомственных* и *личных* – входили разные группы российских подданных, людей всегда незаурядных, отличавшихся образованностью, признанными талантами, успехами в науках, а то и просто богатством: купцы, состоявшие в течение не менее двадцати лет в первой гильдии; артисты императорских театров и художники; лица, получившие в одном из русских университетов ученые степени доктора или магистра; коммерц- и мануфактур-советники; “ученые евреи при губернаторах”; врачи, фармацевты, инженеры, ветеринары...

Впрочем, от ужасов, выпадавших на долю ее единоверцев, звание потомственной почетной гражданки Августину Яковлевну не спасало. Еврейский погром, разразившийся в Киеве в 1905 году, не затронул ее семью, однако недвусмысленно напомнил о постоянно грозившей опасности. Моя бабушка – так поступали многие матери из состоятельных еврейских семей – увезла сыновей за границу: в Берлин, затем в Швейцарию. Лишь через год решилась она вернуться в Россию, но уже не в Киев, а в Петербург, где и поселилась с детьми.

Управление КВЖД, на строительстве которой работал Игнатий Абрамович Бернштейн, выплатило бабушке страховую премию, 726 рублей 72 копейки, ее прибавили к капиталу в размере 8829 рублей 40 копеек, оставшемуся после кончины главы семьи, взыскав с наследников пошлину в размере 95 рублей 77 копеек. Деньги по закону распределялись так: три четверти принадлежали детям, вдова могла распоряжаться только четвертой частью и процентами с капитала. На эти средства бабушка нанимала просторную квартиру у Пяти углов, в фешенебельном районе Петербурга, содержала штат прислуги, гувернеров и гувернанток. Одевалась столь элегантно, что, как свидетельствует один из семейных анекдотов, государь император Николай II, приняв бабушку за фрейлину, однажды поклонился ей на Невском, когда она проезжала в карете.

Сыновьям она сумела внушить уважение и приучила их к почтительности, твердости ей было не занимать. Отец и взрослым сетовал на чрезмерную, с его точки зрения, опеку: не только его самого, но и старшего брата держали в строгости, требовали отчета об отлучках и встречах и, упаси бог, не давали распоряжаться по своему усмотрению деньгами. Я на том выиграла: во исправление бабушкиной “ошибки” отец рано положил мне карманные деньги, которые аккуратно выдавал каждый месяц, даже в нищие для семьи “космополитические” годы, и демонстративно не спрашивал, на что ушли (спасибо, что не спрашивал: в тяжелое время деньги возвращались в общий бюджет, по секрету от него я отдавала их маме). Только когда стала получать стипендию в университете, лишилась такого подспорья.

Не желая сидеть без дела, бабушка посещала курсы изысканной кулинарии, где состоятельные петербургские дамы обучались искусству создавать необыкновенные блюда для своих гостей. Разумеется, они постигали рецепты, воспринимали идеи, знакомились с секретами изысканного декора – никто не предполагал, что им придется стоять у плиты: на то имелись кухарки. Рукописный конспект лекций, толстая тетрадь в черной клеенчатой обложке, испи-санная по-немецки изящным бабушкиным почерком, сохранилась у нас. Из всего кулинарного богатства, там собранного, нам удалось использовать только два, самых простых: для всех остальных требовались ингредиенты, о которых в наше время и слыхом не слыхивали.

После октября 1917 года испарились сначала деньги – бабушка сделала было попытку сохранить их, вложив в недвижимость: приобрела имение в Крыму; затем пошла прахом так и не обжитое имение и возможность снимать квартиру у Пяти углов; исчезли ненужные теперь кухарка и горничные; пропала надобность в знании замысловатой кулинарии.

С присущим ей мужеством бабушка пережила и эту напасть. К концу 1917-го сыновья выросли – старший прочно стоял на ногах, был оставлен при кафедре русского языка историко-филологического факультета Петербургского университета, младший заканчивал гимназию Гуревича, а она... она стала учиться зарабатывать на жизнь! Пятидесяти лет от роду моя бабушка приобрела профессию переводчика художественной литературы. Немецким она владела с детства, семья подолгу жила в Германии, а в петербургские свои годы пристально следила за новейшей литературой на этом языке. Тогда же, в 1917 году, попробовала свои силы, перевела на русский пьесу “Король-Арлекин” немецкого писателя Рудольфа Лотара, комедии, мистерии, трагедии и проза которого пользовались тогда большим успехом на Западе. Выбор оказался удачным: в то тревожное и, несмотря ни на что, театральное время комедия в стиле дель арте пришлась по вкусу как режиссерам, так и зрителям. Перевод вышел в свет в Нарве, но был замечен в обеих столицах: комедию поставили сначала в Питере, потом в Москве, а в репертуаре драматических театров провинции спектакль продержался до 1930 года.

Первый успех придал уверенности. Знакомясь с новинками современной литературы на немецком, бабушка, разумеется, не могла пропустить явление Стефана Цвейга. В первой половине двадцатых тот стал входить в славу в Австрии и Германии, критики и читатели бурно спорили о нравственности-беснравственности, приличии-неприличии, значительности-незначительности его сочинений, восхищались тонкостью передачи переживаний и поеживались от откровенности описаний (описаний исключительно чувств, а не чего-нибудь более интимного, как это принято в нынешнем веке). В России Стефан Цвейг почти не был известен: встречались упоминания его имени, мелькнул перевод стихотворения, появились две книги новелл<sup>5</sup>. Полина Бернштейн взялась открыть его творчество русским читателям. Она написала знаменитому австрийцу, тот незамедлительно отозвался – был впечатлен изысканным эпистолярным стилем письма по-немецки и заинтригован обратным адресом: таинственная Россия занимала в ту пору его мысли, а русскую классику он с увлечением читал и высоко ценил еще со студенческих лет. На предложение корреспондентки из Петрограда познакомиться с его произведениями русских читателей Стефан Цвейг откликнулся с энтузиазмом. Переписка перешла в творческое содружество: Цвейг и его секретарша аккуратно пересылали бабушке не только вышедшие книги, но и рукописи будущих, а та прилежно работала над переводами.

В 1924 году в ленинградском издательстве “Время” вышли в свет три переведенные Полиной Бернштейн новеллы Стефана Цвейга: “Гувернантка”, “Летняя новелла” и знаменитая “Жгучая тайна”; через два года их пришлось переиздать, так как тираж оказался распродан, затем их бесчисленное число раз включали в сборники и собрания сочинений писателя. В 1926 году бабушка перевела новеллу “Женщина и природа”, а в 1927-м, особенно урожайном, был опубликован в ее переводах целый букет цвейговских шедевров: “Закат одного сердца”, “Смятение чувств”, “Случай на Женевском озере”, “Незримая коллекция”, “Лепорелла”, “Принуждение”, “Тайна Байрона”. Затем последовали: в 1928 году – “Легенда о сестрах-близнецах”, “Миг Ватерлоо”, “Открытие Эльдorado”, “Борьба за Южный полюс”, “Толстой”, “Жизнь трех клоунов”, в 1929-м – “Казанова”, “Достоевский”, в 1930-м – “Ромэн Роллан: Жизнь и творчество”, в 1931-м – “Жозеф Фуше”, в 1932-м – “Гельдерлин. Клейст”. Все это вошло в первое, двенадцатитомное, собрание сочинений Стефана Цвейга с предисловием Максима Горького, которое издавалось в Ленинграде с 1928 по 1932 год, было воспроизведено и во втором изда-

<sup>5</sup> Амок. Новеллы. Пер. Д.М. Горфинкеля. Пб., “Атеней”, 1923. Вторая книга Амока. Новеллы. Пер. И.В. Мандельштама. Л., “Атеней”, 1924.

нии. Она не ограничилась тем, что открыла русскому читателю б́льшую часть сочинений Стефана Цвейга, но перевела еще и “Туннель” Бернгарда Келлермана, “Дело Маурициуса” Якоба Вассермана, “Что же дальше?” Ганса Фаллады и даже одну вещь Гейне, не говоря уж о менее значительных произведениях. На сценах Москвы и Ленинграда помимо “Короля-Арлекина” Лотара шла в ее переводе комедия “Вольпоне” Бена Джонсона.

Одним словом, Полина Бернштейн стала признанным мастером в жанре художественного перевода немецкоязычной прозы. Когда в 1934 году создавался Союз советских писателей, ее приняли одной из первых, полученный ею членский билет был украшен автографом Горького, считался реликвией и по этой причине долгое время даже не подлежал обмену.

Войну бабушка пережила в Чистополе со мной и мамой, в тяжелой тревоге за сыновей, за любимую сестру Анну, оставшуюся в оккупированном Воронеже, и с присущей ей выдержкой переносила тяготы быта. “У нас всё благополучно, комнатой и хозяевами очень довольны”, – сообщает она в письме от 12 августа 1941 года. 19 октября успокаивает старшего сына: “Что со мной сделается, ничто меня не берет”, “У нас по-прежнему всё вполне благополучно”, “Мы всем обеспечены и решительно ни в чем не нуждаемся”, – пишет моему отцу в феврале и марте 1942 года, по моим воспоминаниям, жутко голодного времени. Всегда старается найти что-то хорошее: “Стоит прекрасная погода, солнечная и чудный воздух. Я думаю, что здесь здоровый климат” (17 февраля 1942 года); сообщает литературные новости: “Вчера были на вечере наших писателей, были Тренев и Асеев и др<угие>, хорошая пианистка (Елизавета Лойтер. – С.Б.) и недурная скрипачка и здешние артисты” (август 1941 года). “Анна Марковна (моя мама. – С.Б.) перепечатывает перевод Пастернака «Ромео и Джульетта», прекрасный перевод” (29 марта 1942 года). Долго отказывалась верить сообщениям о самоубийстве Стефана Цвейга. Только изредка позволяла себе вздохнуть: “Когда же это кончится и когда только мы опять будем вместе?” или признать: “Тянет меня невероятно туда, в Москву”.

В свои семьдесят с лишним бабушка и в эвакуации нашла себе разумное занятие: давала уроки немецкого, учила Варю, дочь Виктора Борисовича Шкловского, и радовалась ее способностям; а главное, стала связной между членами разбросанной военным временем семьи и ближайшими друзьями. Письма, открытки она отправляла ежедневно, в крайнем случае, через день: знала по опыту, что изрядная часть их пропадает, а потому методично – четко, коротко, без эмоций и оценок – информировала каждого о каждом. Младшего сына она старается освободить от тревоги за семью, старшего – подбодрить и трогательно продолжает исподволь воспитывать обоих. Младший удостоился – редкий случай! – сдержанной похвалы: “Виктор [Шкловский] пишет, что ты ведешь себя храбро – он встретился с кем-то, кто тебя видел” (18 декабря 1941 года); а старший наставления: “Сейчас не такое время, навряд ли найдется среди окружающих тебя хоть один, кто так или иначе не связан с фронтом; трудно требовать должного отношения к занятиям, должного спокойствия и точного исполнения своего долга, требования поневоле должны уменьшаться и надо проявить снисходительность во избежание всяких столкновений, которыми многого не добьешься, а только восстановишь против себя окружающих и создашь себе неприятное положение”. Это длинное и несколько запутанное поучение нелегко далось бабушке: в отличие от других, написанных без помарок, страница несет следы сомнений, работы над словом, поиска тактичных, но точных выражений, пестрит исправлениями и перечеркиваниями. Дядя в эвакуации исполнял обязанности декана, а кому, как не матери, было знать, сколь мало он подходил для административной работы.

В Москву и даже в свой не пострадавший от бомбежек дом в Столешниковом переулке, где жила до войны с Сергеем и его женой, бабушка вернулась летом 1943-го, вскоре встретила сыновей: мой отец прилетал с фронта на несколько дней, а дядя вместе с другими профессорами Педагогического института возвратился из эвакуации. Она пришла в ужас от того, как изменились и постарели оба. “Какая обида, что на вашу долю выпало время столь тяжелых переживаний”, – писала она моему отцу в июле 1944 года. Старалась не терять надежды на

лучшее: “К счастью, перспективы на будущее улучшаются и Бог даст, вы увидите еще хорошие веселые дни”.

В последний военный год бабушка переселилась к нам: крутая лестница, что вела на верхний этаж дома, стала ей не под силу. Она дождалась Дня Победы и на короткое время даже некоторого разумного благополучия, насколько то было возможно в нищей, разоренной стране, да еще в нашем разбомбленном и разграбленном доме. Основания для оптимизма тогда существовали: всем казалось, что с террором покончено и обстановка в дальнейшем не будет столь удушающей. Успела увидеть, что надежды ее не сбылись.

Скончалась бабушка в 1949-м, в разгар борьбы с “космополитизмом”. В этом году ее старший сын был изгнан из Московского университета, младший объявлен “врагом № 1 в детской литературе”<sup>6</sup>; имя столь ценимого ею Стефана Цвейга, которого она в течение четверти века неустанно не только переводила, но и пропагандировала, не упоминалось даже в учебных курсах зарубежной литературы, а его книги исчезли из публичных библиотек. Еврейский погром, ужаснувший ее в Киеве в 1905 году, продолжался на новый лад, только бежать от него за границу было теперь невозможно. Существовал другой способ уйти, она им воспользовалась. Похоронили мою бабушку на Новодевичьем: к умершим “инородцам” Союз писателей относился толерантно.

Остается сказать, что моя стойкая и мужественная бабушка Поля ростом не превышала полутора метров, притом отличалась пышнейшими статями и тончайшей талией. Шляпы со страусовыми перьями, корсеты, юбки с воланами, кружева, изящной работы шелковые зонтики на ручках из слоновой кости были созданы специально для нее. Кое-что из подобных забав позапрошлого века дожило до моих дней, но в память бабушки я привезла в Америку и храню не эту пеструю мишуру, а два простеньких круглых гребня из пластмассы, которыми она до конца жизни закалывала свои старомодные букли.

Переводы Полины Бернштейн переиздаются по сей день.

---

<sup>6</sup> Такой “титул” пожаловал моему отцу Александр Фадеев, бывший в ту пору генеральным секретарем и председателем правления Союза советских писателей. – С.Б.

## Старший брат и его окружение

Когда я однажды спросила отца, ощущал ли он в детстве, в отрочестве сиротство, он твердо ответил: “Никогда. У меня был Сережа”.

Сережа, выдающийся лингвист Сергей Бернштейн, старший брат, которому к моменту гибели отца не минуло и девяти, с первых дней жизни младшего стал его опекать и в меру сил воспитывать.

Сергея Игнатьевича и моего отца связывала тесная дружба, редкая даже для столь близких родственников: Сергей был для моего отца больше, чем братом, но все-таки – братом, а не отцом. Дистанция между братьями короче, чем между детьми и родителями, отношения проще. К старшему брату испытывают уважение, но не почтение. С друзьями родителей общаются если и охотно, то без принужденности, а с товарищами брата – легко и естественно. Так, легко и естественно, гимназист Саня Бернштейн вошел в компанию друзей сначала – студента-филолога, позднее – профессора Сергея Бернштейна.

Благодаря брату у меня в гимназические годы появилось довольно много знакомых филологов. Товарищем брата по университету был Юрий Николаевич Тынянов, вместе с которым он посещал занятия знаменитого Пушкинского семинара Семена Афанасьевича Венгерова. Тынянов бывал у нас, а потом и я с ним подружился и стал бывать у него. Однажды я даже сидел у него в засаде: в двадцать втором году искали Шкловского, хотели его арестовать. Он дня три скрывался в Петербурге. Одну из засад устроили в квартире Тынянова, а я пришел к тому в гости. Просидел у него сутки в большой разношерстной компании: Каверин, молочница, нищий... Мы очень весело провели там время, потом засаду сняли и нас отпустили.

Человек он был замечательный во многих отношениях. Обаятельный. Доброжелательный. Уживчивый. Чрезвычайно общительный. Я его наблюдал вот только в эти годы, в сущности, последние мои наблюдения относятся к тем годам, когда он писал “Кюхлю”, когда он, собственно, только входил в литературу. Не буду говорить о нем как о писателе и ученом – об этом достаточно написано, – хочу напомнить, что он обладал еще одним талантом: это был удивительный актер. Как он умел изображать – только не современников, как он блистательно перевоплощался в тех, о ком рассказывал! То, что делает Ираклий Андроников, это, я бы сказал, слабое подражание тому, что умел Тынянов. Андроников – талантливый имитатор, а Тынянов – тот создавал образ, показывал тех, кого ни он, ни зрители никогда не видали и видеть не могли. Он, рассказывая о Грибоедове, показывал Грибоедова, рассказывая о Пушкине, показывал Пушкина. А надо сказать, он лицом был слегка похож на Пушкина и, зная это, отпустил такие же бачки, какие носил Пушкин, сознательно подчеркивал сходство. Он мог представить разговор Пушкина с Бенкендорфом, с Соболевским, с Хитрово – это было и поразительное актерское мастерство, и поразительная достоверность: каждое слово могло, чувствуется, что могло быть сказано в ту эпоху и в тех обстоятельствах<sup>7</sup>. Размышлял вслух: “Что было бы, если б Пушкин убил Дантеса? Писал бы прозу, ушел в аристократизм, стал бы придворным историографом. Последняя поэма «Анджело» – самая слабая. А ему очень

---

<sup>7</sup> Магнитофонные записи бесед А. Ивича с В. Дувакиным. Москва, 1972 г. Кассета № 248, дорожки 1 и 2; кассета № 249, дорожки перезаписи 3 и 4. Далее: Ивич-Дувакин.



нравилась. Вероятно, стихи писал бы плохие. Впрочем, ему вряд ли хотелось жить”<sup>8</sup>.

Другой товарищ брата по университету и по семинару Венгерова, реже у нас бывавший, Сергей Михайлович Бонди – очень интересный ученый, знаток стиха, отличался тем же свойством, что и мой брат: нелюбовью к писанию. Тынянов говорил о нем: “Гениальный человек, не читает рукописи Пушкина, а пишет вместе с ним. Восстанавливает весь творческий процесс!”<sup>9</sup>

С Виктором Шкловским, молодым и, как любят вспоминать все мемуаристы, в ту пору кудрявым, мой отец познакомился, когда тот принес на суд Сергею Бернштейну рукопись своей книги “Воскрешение слова”, связанной с работами Потебни: Шкловскому требовалась консультация лингвиста (на память о знаменательном событии сохранились в семейном архиве страницы чернового варианта рукописи “Воскрешение слова”). Тринадцатилетний Саня стал с этого дня его приверженцем, позднее вместе с Владимиром Трениным на некоторое время – литературным секретарем, а другом – навсегда. “Шкловский сыграл в моей жизни огромную роль”, – говорил он.

А вот с Борисом Эйхенбаумом старшего брата познакомил младший. Борис Михайлович преподавал литературу в гимназии Гуревича, где учился Саня, обратил внимание на увлеченного литературой и как-то уж подозрительно хорошо подготовленного шестиклассника, побывав у него дома, стал другом семьи и – страстным оппонентом Сергея Бернштейна.

Эйхенбаум был человеком удивительно мягким, чрезвычайно доброжелательным и демократичным. Он был как-то необычайно приветлив, заинтересован в общении с людьми, с друзьями. С совершенно одинаковым вниманием мог слушать какого-нибудь видного профессора и меня, гимназиста. Он ко всем относился ровно, благожелательно, и в нем чувствовалась большая душевная доброта. Лето шестнадцатого года мы жили на одной даче с Эйхенбаумами, это было в очень красивом месте, в поселке Пухтула Гора близ Териок, а летом семнадцатого – вместе в Шувалово, и могли оценить обаяние Бориса Михайловича и мягкость его характера, которая не распространялась только на споры о научных убеждениях. Тут он бывал непреклонен, что приводило иногда к ссорам и охлаждению в отношениях. Когда он работал над книгой “Мелодика стиха”, у него были яростные баталии с моим братом, который со многими положениями этой книги не мог согласиться и потом очень резко выступил против нее. Много лет спустя Борис Михайлович подарил брату другую свою книгу с такой надписью:

Были Пухтула, Шувалово,  
Только не было “Мелодики”.  
Десять лет прошло без малого,  
Мелодические годики.

Отношения Бориса Михайловича с моим братом испортились после выхода “Мелодики стиха”, а я, наезжая в Ленинград, с ним встречался до последних лет его жизни.

---

<sup>8</sup> Последние строки записаны на отдельном листе, датированном 29 января с последующим уточнением года: “1920 или 1921”. – С.Б.

<sup>9</sup> Отзыв Тынянова – из той же записи 29 января 1920/21 г.

Была ему свойственна и ранимость, неуверенность в себе. Помню одно из моих свиданий с ним, когда он был в тяжелом состоянии<sup>10</sup>. Ко времени нашей встречи дела как-то устроились, но он успел утратить веру в свои силы и не мог вернуться к работе. Он мне рассказывал, что он думает о “Герое нашего времени”. Я его тогда очень уговаривал, я его умолял немедленно начать писать. И он, действительно, начал писать, написал о “Герое нашего времени”, одну из блестящих своих работ.

В самый последний раз, когда я его навестил в Ленинграде, он собирался на защиту чьей-то диссертации об эпосе и в передней, надевая пальто, просунул руку в один рукав, приостановился, задумался и спросил меня: “Саня, а как вы думаете, что такое эпос?”

По наследству и мне посчастливилось познакомиться с Борисом Эйхенбаумом, и я смогла на себе испытать проявление той демократичности, о которой писал мой отец. Случайно встретив меня в Питере, он посчитал нужным рассказать мне, школьнице, о том, как начал работу над статьей о “Герое нашего времени”: “Я долгое время не мог написать ни строчки. Саня послушал мои жалобы, усадил за стол, положил лист белой бумаги, сунул перо в руку, встал у меня за спиной и принялся диктовать мне мои же, только что сказанные ему слова. Спас меня”.

Это было во второй и последний раз, когда мне довелось видеть Бориса Михайловича – в Ленинграде, где я была с родителями. Впервые я встретила его в Москве у Шкловских, Борис Михайлович сидел во главе стола, а перед ним красовался внушительных размеров хрустальный кубок, видимо, только что ему преподнесенный, попыткам наполнить который он решительно сопротивлялся. После долгих уговоров согласился “на одну только каплю” коньяка. Ему и капнули в бокал – ровно одну. Б.М. поднял кубок, поглядел его на свет, поиграл темной каплей, перекачивая ее по прозрачным стенкам, и горестно резюмировал:

– Вот до чего дорос формализм.

---

<sup>10</sup> Речь идет о доносах и “проработках” в Пушкинском доме, когда ученый стал одной из жертв “борьбы с космополитизмом”. – С.Б.

## Цитаты, игры и мистификации

Борис Эйхенбаум достаивал гимназиста серьезными профессиональными беседами. Виктор Максимович Жирмунский, когда навещался в Пухтулу или в Шувалово, приглашал участвовать в профессиональных развлечениях.

Вечерами часто затевалась игра: кто вспомнит больше стихотворных цитат на избранную по общему согласию тему – “реки и озера”, “небо и облака”, “поле и лес”, “цветы”, или, к примеру, “предметы мебели”, – тут следовало назвать все диваны, кровати, столы, стулья, кресла, которые тебе попадались в стихах. Особенно ценились цитаты из малоизвестных или забытых поэтов. <...> Это забавное занятие, такая умственная тренировка. Мы все очень увлекались игрой, а Виктор Максимович был в ней абсолютным, признанным чемпионом. Ни с кем не сравнимый запас стихов в памяти, умение их в случае чего выбирать! Мы с братом даже один раз проделали такой опыт. Заранее придумали тему “Бог и ангелы”, потом, когда были в городе, пересмотрели множество поэтических сборников, выбрали подходящие цитаты и вернулись на дачу, тщательно подготовившись к турниру. В победе мы не сомневались. Предложили с невинным видом свою тему и – были посрамлены: у Жирмунского цитат оказалось в полтора раза больше, чем у нас! Остальные участники игры, Борис Михайлович Эйхенбаум в том числе, остались далеко позади.

Мы много гуляли и между прочим во время прогулок Борис Михайлович и Виктор Максимович импровизировали: сочиняли эпиграммы-пародии на поэтов. Потом Виктор Максимович их записал и засекретил. Больше никому не давал читать. Они в самом деле были обидные. Невинно-обидные. Пародия на строки Вячеслава Иванова:

Бурно ринулась Менада,  
Словно лань,  
Словно лань<sup>11</sup>,

кончалась:

Написал стихов ты много,  
Перестань,  
Перестань!”<sup>12</sup>

Еще одну, которую тоже запомнил, отец на моей памяти никогда не произносил вслух, пока под нажимом В.Д. Дувакина, считавшего, что “все следует зафиксировать”, и под обещание не публиковать, прочитал четыре заключительные строки пародии на Гумилева – в дни дачных прогулок в 1916-м и 1917-м они казались смешными, но зазвучали жутко после 26 августа 1921 года, когда поэт был расстрелян.

Пускай погибну я потом,  
Да и погибну я едва ли,  
Когда с георгиевским крестом  
Свершаю подвиги в “Привале”<sup>13</sup>.

---

<sup>11</sup> Строки из популярного в то время стихотворения Вяч. Иванова “Менада”.

<sup>12</sup> Ивич-Дувакин.

<sup>13</sup> Имеется в виду артистическое кабаре “Привал комедиантов” в Петрограде.

Я их считала великим секретом, в конце концов после долгих сомнений все-таки опубликовала, сопроводив подходящими к случаю извинениями, мол, да простится мне нарушение давнишнего и не мною данного слова, а потом обнаружила в книге Романа Тименчика, которому отец их сообщил, как видно, безо всяких условий и обещаний держать в тайне.

По другим причинам никогда не произносились при мне несколько строк о Николае Гумилеве, которые я нашла, разбирая записки отца после его кончины:

Гумилева я не знал, но мне много о нем рассказывал Владимир Нарбут, который по примеру Гумилева тоже посетил Абиссинию. Вот один из его анекдотов. По возвращении Николая Степановича в Россию, кто-то из его почитателей спрашивает:

– Как вам понравилась Африка?

Гумилев, надменно:

– Ничего, только вот член пришлось держать в черном теле.

Тем же летом в Пухтуле Эйхенбаум как-то на пари с Ю. Никольским взялся написать рецензию на только что вышедшую книгу Дарского о Фете<sup>14</sup>, не просмотрев и даже не разрезав ее. Положив перед собой книгу, но не открывая ее, он написал обстоятельную рецензию. Потом, когда книга была прочтена, оказалось, что рецензию можно пустить в печать, почти не переделывая, только дополнив конкретными примерами. Она напечатана, кажется, в “Русской мысли”<sup>15</sup>.

Зато в официальных обстоятельствах Сане Бернштейну приходилось нелегко.

В семнадцатом году я окончил гимназию, поступил в университет и одновременно в Институт истории искусств. Университет скоро бросил и уже учился только в Институте истории искусств. Причем положение было затруднительное: со всем кругом ОПОЯЗа я был знаком еще с гимназических лет<sup>16</sup>.

Когда в 1920 году основатели ОПОЯЗа стали профессорами Института истории искусств, сдавать экзамены он должен был своим старшим друзьям, а в университете, пока там учился, хуже того – брату. В детстве я не раз слышала рассказ о том, как он ехал в университет на экзамен по введению в языкознание на одном извозчике с Сергеем и всю дорогу пытался выведать, какие вопросы тот намерен ему задать. Старший брат был неумолим, хранил ледяное молчание, держался отстраненно и даже слегка угрожающе, а потом нещадно гонял младшего по всему курсу. Историю я слышала и от отца, и от дяди, причем дядя напирал на извозчика, подчеркивая свою доброту (доставил мальчишку-первокурсника на экзамен с полным комфортом), а отец притворно возмущался его жестокостью, по обыкновению любуясь принципиальностью брата. Сдавать вступительный экзамен В.М. Жирмунскому оказалось куда веселее. Профессор с серьезным видом, улыбаясь только глазами, предложил один-единственный вопрос:

– Скольких Толстых вы знаете в русской литературе?

Дабы не ударить в грязь лицом, абитуриент подробнейшим образом рассказал все, что было ему известно о Федоре Толстом-Американце, пересыпая, благо персонаж давал к тому повод, ответ строками Грибоедова, Вяземского и Пушкина, так что экзамен превратился в привычную обоим участникам игру в цитаты, которой они предавались на дачных прогулках.

---

<sup>14</sup> Дарский Д. Радость земли. Исследование лирики Фета. М., 1916.

<sup>15</sup> Русская мысль. 1916. № 9. С. 1–2.

<sup>16</sup> Ивич-Дувакин.

Положение упростилось, когда Институт истории искусств из учебного заведения превратился в исследовательское, студентов переименовали в “научных сотрудников второго ряда”, не получающих зарплаты, но по званию соотносимых с учителями.

## Запечатлеть? Пожалуй!

Я думаю, именно тогда, в годы Первой мировой войны, революции и последовавшего за ней политического переворота и войны Гражданской, пробудился в моем отце *хранитель культуры*, кем он стал в зрелые годы. Не обошлось без влияния старшего брата: недаром тот таскал мальчишку ночью по петроградским улицам собирать документы двух войн и двух революций!

Что касается литературной жизни, то Саня Бернштейн оказался в уникальной позиции, в счастливой роли участника и вместе с тем зрителя. Он мог наблюдать вблизи творцов нового литературоведения, формального метода, слушать их споры, следить за рождением теорий и оттачиванием формулировок, но в то же время видел их извне, сохраняя дистанцию, к чему обязывали его возраст и положение: сначала – гимназиста среди студентов, позднее – студента в обществе профессоров.

Он был к тому времени достаточно искушен в словесности, чтобы не сомневаться в значительности происходящего и масштабе личностей. Естественно, он восхищался ими, и этим восхищением хотелось поделиться с другими. На фоне гибели тяжеловесного прочного мира материальных ценностей хрупкость призрачного мира ценностей интеллектуальных была особенно, болезненно ощутима. Желание защитить и сохранить расцвет, торжество, даже буйство духовной жизни тех дней было столь же сильно, сколь и неосуществимо. Защитить, сберечь было не в его силах, но запечатлеть? Пожалуй!

Вот о чем мне хотелось бы рассказать, о совершенно необыкновенной обстановке... не обстановке – неподходящее слово – жизни, интеллектуальной жизни... Вторая половина двадцатого и двадцать первый год. Голодное время. До нэпа. С конца Гражданской войны возрождалась интеллектуальная жизнь, причем как-то сразу, во временном отдалении представляется: взрывом. Тогда, конечно, этого чувства не было. Была чрезвычайно интенсивная интеллектуальная жизнь. Мало связанная с политикой и вовсе не связанная. День шел за днем, и тяготы быта давили на сознание. В заплечных мешках тащили писатели пайки: академический, выхлопотанный для них Горьким, военный – его получали многие за чтение лекций, выступления. Везли на ручных санках дрова. Мы жили в комнатах и собирались в помещениях с температурой зимой нередко близкой к нулю. Мы ели суп из селедочных голов, пили морковный чай и пребывали в веселой атмосфере острого, напряженного интереса к искусству и его теории. Было множество семинаров, литературных кружков. Книги не залеживались на библиотечных полках. Не проходило недели без интересного литературного вечера. Образовался Институт живого слова. Шла серьезная работа над проблемами литературы в Институте истории искусств, на филологическом факультете, в семинарах издательства “Всемирная литература”. Острые споры велись на собраниях “Серапионовых братьев”. В этой атмосфере кристаллизовались интересы, обозначались таланты и пробуждались способности.

Спрос на лекции и выступления писателей, ученых возрастал с каждым месяцем – это тоже было знаком времени. Семидесятипятилетний Анатолий Федорович Кони так же неустанно передвигался по городу с одного выступления на другое, как сорокалетний Корней Иванович Чуковский. Академик Кони, на костыле, ходил со своей квартиры, кажется, на Надеждинской улице, в университет, то есть через весь город, транспорта тогда не было, в трамвай невозможно было попасть: трамваи были бесплатные и обвешаны кругом гроздьями людей – и он ходил пешком и читал лекции

в университете, читал в Доме искусств, читал в Доме литераторов. Корней Иванович читал лекции... не знаю, вероятно, в двадцати местах – он бегал по всему городу.

И у обоих оставались силы, время для своей работы: Кони писал воспоминания, а полный энергии, всегда готовый к радужному, заинтересованному общению с писателями, учеными, матросами Балтфлота – словом, со всеми, кто встречался на его пути – Чуковский успевал наряду с работой над Некрасовым, над сказками для детей, над переводами, руководить литературным отделом Дома искусств, организуя там лекции, вечера поэзии, собирал материалы для книги “От двух до пяти”. Да только ли это! Он был одним из самых неутомимых деятелей издательства “Всемирная литература”! “Всемирная литература” образовала какой-то семинар переводчиков. На самом деле переводчики были сами по себе, но Корней Иванович вел там очень интересный семинар по критике, Зощенко был в этом семинаре, и даже великолепно спародировал Корнея Ивановича потом.

Чуковский – пример исключительной, вулканической деятельности, но очень много работали все, независимо от своего отношения к политической атмосфере. В этом и было своеобразие, противоречивость времени. Писатели, отрицательно или враждебно относившиеся к советской власти – Владислав Ходасевич, Георгий Иванов, Георгий Адамович, Ирина Одоевцева и другие, – работали очень интенсивно. Впечатление было такое, что тяготы быта рождали вдохновение<sup>17</sup>.

Не будем забывать, что подобное впечатление сложилось и навсегда осталось в памяти у тогда еще очень молодого человека, да и у других очень молодых людей. “Город был пустынен и прекрасен. Ни прохожих, ни лошадей, ни машин. Петербург превратился в декорацию. Он стал архитектурным организатором в его первородном существе”, – так воспроизводит его в своих воспоминаниях Ида Наппельбаум шестьдесят лет спустя<sup>18</sup>. В воспоминаниях Ходасевича и Бунина, в дневниках Блока и Чуковского, во множестве российских и зарубежных публикаций о том же времени мы встречаем другие ощущения и слышим иные оценки. Но Сане Бернштейну было девятнадцать – двадцать лет, и у него, по его собственным словам, “глаза разбегались: тут и Дом литераторов, и Дом искусств, и романы, и занятия” и, добавим, еще и революция, и стихи, и “Серапионы”, и ОПОЯЗ...

Тогда очень много веселились в эти годы: в то голодное время был не только расцвет научной и поэтической работы, была еще и масса развлечений. Был в Институте истории искусств бал, на котором появился Гумилев во фраке. Кажется, он и на маскараде был во фраке, по воспоминаниям – я его не помню на маскараде<sup>19</sup>. Были еженедельные вечера в Доме искусств, очень веселые. Был живой кинематограф, которым руководили Евгений Шварц и Лева Лунц, – они были двумя конферансье и всякие трюки придумывали.

Пятница в Доме искусств. Лева, с озорным блеском в глазах, прихрамывая и опираясь на палочку – ему свернули ногу, качая его на каком-то вечере, – перебегает от одного к другому, созывает разбредшихся по разным комнатам и углам обычных участников пятничных увеселений.

---

<sup>17</sup> Из записей А. Ивича.

<sup>18</sup> Наппельбаум И. Памятка о поэте. (Цит. по кн. “Антология акмеизма”, М., Московский рабочий, 1997. С. 349.)

<sup>19</sup> Нина Берберова, вспоминая о кратком своем знакомстве с Гумилевым в 1921 г., вскользь замечает, что поэт ей “мгновениями казался консервативным пожилым господином, который, вероятно, до сих пор иногда надевает фрак и цилиндр”. Берберова Н. Курсив мой. М., Согласие, 2001. С. 149.

Десяток почтенных литераторов в возрасте от семнадцати до двадцати двух лет сбивается наконец в тесную кучку и в десять минут, перебивая друг друга, катаясь по полу от смеха над удачными выдумками, составляют под предводительством Левы Лунца и Евгения Шварца сценарий для живого кино. Лев Арнштам садится за рояль, Лунц конферирует. Сегодня – “Нельдихен в Америке, тяжелая драма, нервных просят удалиться”. Я изображаю то героя, то пароход, на котором герой прибывает в Америку, а сам Нельдихен со своим обычным невозмутимым видом – Статую Свободы. Он огромного роста, с длинными ногами, и мне приходится проползать у него между ногами, изображая, как пароход причаливает к нью-йоркской гавани. Публика была непритязательна, и если какие-то “кадры” получались не слишком удачными, то это встречалось снисходительно. Смеялись, аплодировали, веселились публика и актеры одинаково.

Было очень молодо, люди были полуголодные и потому очень легкие. Дым буржук и котлеты из картофельной шелухи как-то замечательно быстро забывались в светлом нарядном зале. В ободранных костюмах, иногда – в валенках мы танцевали с таким увлечением, как будто все спокойно за стеной этого зала.

Мы жили плохо и не боялись худшего, не ждали лучшего.

К концу 1920 года неопределенное стремление романтического юноши Сани Бернштейна сберечь черты сегодняшнего дня и передать их завтрашнему кристаллизовалось в конкретной идее: создать издательство и печатать там своих учителей и блистательных старших друзей.

Круг их к тому времени расширился значительно.



## Михаил Кузмин

Году в семнадцатом – восемнадцатом, не помню через кого и как, я познакомился с Михаилом Кузминым, который жил в соседнем доме, – обстоятельство немаловажное в пору, когда пользоваться транспортом стало затруднительно, – со своим, так сказать, “другом”, Юрием Ивановичем Юркуном и который любил к нам приходить. И я к ним часто заглядывал.

К Кузмину обычно приходили около пяти часов пить чай<sup>20</sup>. Вечером он не любил бывать дома, уходил в гости или в театр. Редко бывало больше двух – трех гостей, но также редко я оказывался единственным. Всегда присутствовал Юрий Иванович Юркун, живший с ним в той же квартире. Примерно с двадцать второго года неперенной участницей чаепитий стала Ольга Арбенина, часто встречал я здесь поэтессу и переводчицу Анну Радлову, жену режиссера Сергея Радлова, художника Владимира Милашевского, бывали Мосолов, Мухин, рано погибший поэт-обэриут Александр Введенский, Борис Папаригопуло – тогда еще снобический юноша без определенной профессии, позже – драматург, участник альманаха “Абраксас”. Однажды я застал там Маяковского, изредка бывала Анна Ахматова. Очень были уютные чаи. У них был свой ритуал.

Хозяин сидел у самовара и разливал чай. Выглядел Кузмин старше своих лет. В то время, когда я начал у него бывать, Михаилу Алексеевичу было, как я позднее узнал, около сорока пяти лет, а выглядел он человеком далеко за пятьдесят. Лицо у него было морщинистое, при этом – яркие чувственные губы. Невысокий, в пенсне, с седеющими волосами, затейливо уложенными вокруг лысины так, что лоб был обрамлен с двух сторон зачесанными и приглаженными на висках рожками, – получалась очень своеобразная и только ему одному присущая прическа – Кузмин был чуть-чуть, не выходя за пределы хорошего вкуса, манерен. Он как бы играл: то обедневшего французского аристократа, умеющего принять и занять гостя, пополняя изящной беседой и музыкой скудость угощения, то – простоватого русского горожанина, о котором и не подумаешь, что он превосходно владеет французским, итальянским и латынью, о чем, впрочем, нетрудно было догадаться, бросив взгляд на разноязычные книги его небольшой библиотеки. Он, кстати, любил и собирал авантюристов – многотомные воспоминания Казановы по-французски, недаром он писал о Калиостро!

Говорили о литературе, музыке, театре. Иногда Михаил Алексеевич предавался воспоминаниям – то о собраниях на башне у Вячеслава Иванова, то о вечерах в декорационной студии на пятом этаже Мариинского театра у Александра Головина, о разных людях, с которыми ему приходилось общаться. Его характеристики были по манере произнесения добродушными, но по сути – язвительными, например, когда он рассказывал о собраниях на башне Вячеслава Иванова, у которого жил некоторое время, о его семье и быте, о взаимоотношениях с Зиновьевой-Аннибал и ее дочерью<sup>21</sup>.

---

<sup>20</sup> Одоевцева пишет “К вечернему чаю”. Это неверно. – *Примеч. А. Ивича.*

<sup>21</sup> После кончины жены Лидии Дмитриевны Зиновьевой-Аннибал в 1907 г. Иванов вступил в отношения с ее дочерью, своей падчерицей, Верой Шварсалон.

Стихи Кузмин читал не часто – когда просили, но всегда – это входило в ритуал приема гостей – играл одну из сонат Моцарта. Приходя ко мне, пел свои “Куранты любви”, “Александрийские песни”, положенные им на музыку, а иной раз – записанные в одной из пустынь и обработанные им “Духовные стихи”. Ноты некоторых его музыкальных сочинений изданы – он был профессионалом, учился в Петербургской консерватории по классу композиции у Римского-Корсакова, писал музыку к пьесам в Большом драматическом театре. И, опять же, играл Моцарта – не помню, чтобы он исполнял вещи других композиторов. Популярный свой романс “Дитя, не тянися весною за розой” петь не любил. Голоса у Михаила Алексеевича и в помине не было, но это искупалось музыкальностью и особой, как бы лукавой манерой исполнения, необычайно выразительным, мастерским интонированием<sup>22</sup>.

Иногда мы вместе ходили в гости – чаще всего к Брикам на улицу Жуковского, где они жили до переезда в восемнадцатом году в Москву. Иногда играли там в покер с Маяковским и Лилей Юрьевной. Осип Максимович, не принимавший участия в общей игре, играл в карты по-своему: строил на крышке рояля затейливые многоэтажные дома из десятков колод и мог этим заниматься весь вечер. Содержательных литературных разговоров там не бывало, а ведь Осип Брик был как раз очень интересным собеседником! В более поздние, московские годы мы часто навещали его втроем – с Трениным и Харджиевым – и тогда вот уже велись беседы о литературе, главным образом о футуризме.

Стремление помочь Кузмину послужило причиной встречи моего отца с Александром Блоком.

В 1920 году, 29 сентября, в Доме искусств праздновался юбилей Михаила Кузмина, очень странный юбилей: “пятнадцатилетие литературной деятельности” (он печатался первый раз в 1905 году)<sup>23</sup>.

Кузмину, даже по стандарту того года, жилось очень плохо. Тяготы быта, общие для всех, усугублялись житейской неприспособленностью. Не было еды – он не шел ее добывать, пробавляясь чаем с осьмушкой хлеба, не было чаю – пил морковный. А в какой-то день и воду уже нагреть не на чем было: ни топлива, ни угля для самовара. В тот раз нам с Виктором Шкловским удалось его выручить – где-то достали и привезли ему на ручных санках немного дров.

О том, чтобы устроить юбилейный вечер Кузмина, я говорил с Блоком. Он как-то сразу подхватил эту идею и выдал мне на бланке Союза поэтов что-то вроде доверенности на организацию вечера в Доме искусств. Я тогда же его пригласил выступить, Блок согласился и высказал мне ту концепцию, которая впоследствии прозвучала в его небольшой речи, ставшей, конечно, центром вечера. Блок уже был близок к тому строю мыслей и переживаний, которые в следующем году нашли выражение в потрясшей всех, кто ее слышал, речи о Пушкине. Выступление на вечере Кузмина с ней соотносится.

<sup>22</sup> В 1929 г. Михаил Кузмин подарил моему отцу только что вышедший сборник стихов “Форель разбивает лед” с такой надписью: “Дорогому Игнатию Игнатьевичу Бернштейну на память об искренней – дружбе, которой большие промежутки между встречами не помешали. Искренне любящий его М. Кузмин” – С.Б.

<sup>23</sup> В собрании сочинений Александра Блока неверно указано, что вечер был посвящен пятидесятилетию М.А. Кузмина и что артисты А.И. Мозжухин, В. и М. Хортик читали стихи; на самом деле они выступали как певцы в музыкальной части. – Примеч. А. Ивича.

Приветствуя Михаила Алексеевича “от учреждения”, которое носит такое унылое казенное название – “Профессиональный союз поэтов”, Блок говорил, что этот союз, “как все подобные ему учреждения, устроен для того, чтобы найти средства уберечь вас, поэта Кузмина, и таких, как вы, от разных случайностей, которыми наполнена жизнь и которые могли бы вам сделать больно... Потерять поэта очень легко, но приобрести поэта очень трудно; а поэтов, как вы, сейчас на свете очень немного”<sup>24</sup>.

Блок точно выразил цель вечера – оказать поэту моральную поддержку. И действительно, сердечная атмосфера вечера, искренность и торжественность приветствий повысили жизненный тонус Кузмина и, тем самым, достигли цели, о которой говорил Блок.

Думаю, речь Блока сыграла роль не только в жизни юбиляра, но и в жизни организатора вечера, ибо Александр Блок утверждал необходимость “...охранить не цивилизацию, которой в России, в сущности, еще не было, и когда еще будет, а нечто от русской культуры, которая была, есть и будет”<sup>25</sup>, что совпадало с задачами задуманного издательства.

Вечер не прошел незамеченным. В небольшой по объему информации о создании и первых шагах петербургского “Союза поэтов” альманах “Дом искусств” в своем первом номере поместил обстоятельное описание юбилея:

Наиболее удачным из всех начинаний “Союза” следует считать юбилейное чествование М.А. Кузмина (пятнадцатилетие литературной деятельности), прошедшее с исключительным подъемом и успехом. <...> Были оглашены приветствия от “Союза поэтов” (Ал. Блок), от издательства “Всемирная литература” (Н. Гумилев), от издательства “Алконост” (С.М. Алянский), от издательства “Очарованный странник” (В.Р. Ховин), от “Дома литераторов” (Б.М. Эйхенбаум), от “Общества изучения поэтического языка” (Викт. Шкловский), от “Дома Искусств” (Вал. А. Чудовский), от Ал. М. Ремизова (жалованная грамота Кавалеру и Музыканту ордена Обезьяньего Знака) и др. В музыкальной части программы <...> приняли участие: А.М. Примо – “Александрийские песни”, В.Я. Хортик – “Духовные стихи”, М.Я. Хортик – “С Волги”, А.И. Мозжухин – “Пугачевщина” и “Турецкая застольная песня”. О.А. Глебова-Судейкина прекрасно исполнила “Бисерные кошельки”. М.А. Кузмин прочел новый рассказ и неизданные “Итальянские стихи”. В фойе была выставка книг, рукописей нот, портретов и рисунков<sup>26</sup>.

---

<sup>24</sup> Блок А. Собр. соч. в 8 т. Т. 6. М.—Л., 1962. С. 439.

<sup>25</sup> Блок А. Собр. соч. в 8 т. Т. 6. М.—Л., 1962. С. 439.

<sup>26</sup> Дом Искусств – 1920, № 1. Пг., 1921. С. 74.

## Пушкинские торжества в Доме литераторов

стали первым событием в литературной жизни Петербурга в следующем, 1921 году. Они заняли несколько февральских вечеров.

Знаменитую речь “О назначении поэта” Блок читал дважды. Мне пришлось быть на первом ее чтении<sup>27</sup>. Настроение в собрании было приподнятое, я бы сказал – не найду другого слова – молитвенное. Вероятно, тут действовало соединение двух имен: Пушкин – Блок. Вечер начал Михаил Кузмин, прочитав свое написанное к этому дню стихотворение “Пушкин”. Потом на кафедру взошел Блок. Я очень помню, как Блок шел через зал по проходу, отстраненный, задумчивый, остановился около нас, посмотрел на брата, молча протянул ему руку, прошел на эстраду. Таким я видел его первый раз. Когда он говорил, ни одна черточка в его лице не двигалась. Шевелятся только губы, лицо неподвижно, руки недвижны. Свою речь он читал. Негромко и небыстро, глухим голосом. Но, несмотря на переполненный зал, тишина стояла совершенная, и каждое слово доносилось отчетливо. Что-то такое чувствовалось во всем облике Блока, в его фигуре, в застывшем лице – величие и обреченность. Тяжко, сумрачно, матовым голосом говорил он о легком, о веселом имени: Пушкин.

---

<sup>27</sup> Я помню атмосферу зала, о которой совершенное вранье написал Георгий Иванов в своих воспоминаниях. Он пишет, что было холодно, – было совершенно не холодно, что все были в пальто, – ничего подобного. В Доме литераторов вообще не было холодно, туда ходили греться. – *Примеч. А. Ивича.*

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.